

**ЖАН-ЖАК
РУССО**

Исповедь



Санкт-Петербург

УДК 82-94
ББК 83.3(4)-8
Р 89

Jean-Jacques Rousseau
LES CONFESSIONS

Перевод с французского Дмитрия Горбова, Матвея Розанова

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

ISBN 978-5-389-25463-3

© Д. А. Горбов (наследник),
перевод, комментарии, 2024
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КНИГА ПЕРВАЯ

(1712–1728)

Intus et in cute

Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, — и этим человеком буду я.

Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь.

Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно — я предстану пред Верховным судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такую, какую ты видел ее сам, Всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека».

Я родился в Женеве в 1712 году, от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между пятнадцатью детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен. Богаче была моя мать, дочь пастора Бернара. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. Они полюбили друг друга чуть ли не со дня рождения; детьми восьми-девяти лет они каждый вечер гуляли по Трейлю; в десять лет они уже не могли расстаться. Чувство, порожденное привычкой, было укреплено в них симпатией, согласиём душ. Оба от природы нежные и чувствительные, они ожидали только мгновения, когда им откроется их склонность друг к другу, или, лучше сказать, это мгновение поджидало их, и каждый из них бросил свое сердце в раскрывшееся сердце другого. Судьба, которая, казалось, шла наперекор их страсти, только еще более разжигала ее. Влюбленный юноша, не имея возможности добиться своей возлюбленной, изнывал от горя; она посоветовала ему отправиться в путешествие, чтобы забыть ее. Он странствовал напрасно и вернулся еще более влюбленным, чем раньше. Ту, которую любил, он нашел нежной и верной. После этого испытания им оставалось только любить друг друга всю жизнь; они поклялись в этом, и Небо благословило их клятву.

Габриэль Бернар, брат моей матери, влюбился в одну из сестер моего отца; но та соглашалась выйти за него замуж только при том условии, чтобы брат ее женился на его сестре. Любовь уладила все, и обе свадьбы состоялись в один и тот же день. Таким образом, мой дядя оказался мужем моей тетки, и дети их приходились мне двоюродными братьями и сестрами вдвойне. В конце года у каждой четы родился ребенок. Потом им пришлось расстаться.

Мой дядя Бернар был инженером; он отправился служить в Империю, и в Венгрии, под начальством принца Евгения, отличился при осаде Белграда и в сражении под его стенами. Отец после рождения моего единственного брата уехал в Константинополь, куда его пригласили, и сделался там часовщиком при серале. В его отсутствие красота моей

матери, ее ум, ее таланты¹ привлекли поклонников. Самым ревностным из них был г-н де Кюзюр, французский резидент. Верно, страсть его была сильна, если по прошествии тридцати лет я видел, что он растроган, говоря со мною о ней. Моей матери защитой служила не только добродетель — она нежно любила мужа; она попросила его скорей вернуться. Он бросил все и вернулся. Я был печальным плодом этого возвращения: я родился через десять месяцев, слабый и хворый. Я стоил жизни моей матери, и мое рождение было первым из моих несчастий.

Мне осталось неизвестным, как отец мой перенес эту потерю, но я знаю, что он остался безутешен. Он думал снова увидеть ее во мне, будучи не в силах забыть, что я отнял ее у него; когда он целовал меня, то по его вздохам, по его судорожным объятьям я чувствовал, что к его ласкам примешивается горькое сожаление, но от этого они становились еще нежней. Когда он говорил мне: «Жан-Жак, поговорим о твоей матери», я отвечал ему: «Значит, мы будем плакать, отец», и эти слова вызывали у него слезы. «Ах! — говорил он со стоном, — верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту, которую она оставила в моей душе. Любил ли бы я тебя так сильно, будь ты только моим сыном?» Через сорок лет после ее смерти он скончался на руках второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце.

Таковы были творцы моих дней. Из всех даров, которыми наделило их Небо, они оставили мне только чувствительное сердце; оно принесло им счастье и вызвало все несчастья моей жизни.

¹ Для скромного ее положения они были даже слишком блестящи, так как ее отец, священнослужитель, обожал ее и дал ей самое тщательное воспитание. Она рисовала, пела, аккомпанируя себе на теорбе, была довольно начитанна и писала сносные стихи. Вот, например, что она сложила экспромтом во время отъезда брата и мужа, прогуливаясь со своей кузиной и двумя детьми, когда кто-то обратился к ней с замечанием об отсутствующих:

Нам двое всех других милей,
Мы их зовем в свои объятья.
Любезней не сыскать друзей —
Они для нас мужья и братья,
Они отцы вон тех детей.

Я родился почти умирающим; было мало надежды на то, что удастся сохранить меня. Я нес в себе зародыш недуга, который усилили годы и который теперь иногда дает мне передышку только затем, чтобы заставить меня страдать еще более жестоко другим образом. Одна из сестер моего отца, добрая и умная девушка, своим заботливым уходом спасла меня. В настоящее время, когда я пишу эти строки, она еще жива и в восемьдесят лет ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. Дорогая тетюшка, я прощаю вас за то, что вы заставили меня жить, и скорблю о том, что в конце вашей жизни я не могу окружить вас такими же нежными заботами, какими вы осыпали меня в начале моей.

Моя кормилица Жаклина тоже еще жива, здорова и крепка. Руки, открывшие мне глаза при рождении, закроют их после моей смерти.

Чувствовать я начал прежде, чем мыслить; это общий удел человечества. Я испытал его в большей мере, чем всякий другой. Не знаю, как я научился читать; помню только свои первые чтения и то впечатление, которое они на меня производили; с этого времени тянется непрерывная нить моих воспоминаний. От моей матери остались романы. Мы с отцом стали читать их после ужина. Сначала речь шла о том, чтобы мне упражняться в чтении по занимательным книжкам; но вскоре интерес стал таким живым, что мы читали по очереди без перерыва и проводили за этим занятием ночи напролет. Мы никогда не могли оставить книгу, не дочитав ее до конца. Иногда мой отец, услышав утренний щебет ласточек, говорил смущенно: «Идем спать. Я больше ребенок, чем ты».

В короткое время при помощи такого опасного метода я не только с чрезвычайной легкостью научился читать и понимать прочитанное, но и приобрел исключительное для своего возраста знание страстей. У меня еще не было ни малейшего представления о вещах, а уже все чувства были мне знакомы. Я еще ничего не постиг — и уже все перечувствовал. Волнения, испытываемые мною одно за другим, не извращали разума, которого у меня еще не было; но они образовали его на особый лад и дали мне о человеческой жизни понятия самые странные и романтические; ни опыт,

ни размышления никогда не могли как следует излечить меня от них.

Романы кончились вместе с летом 1719 года. Следующей зимой пошло другое. Исчерпав библиотеку моей матери, мы прибегли к доставшейся нам части библиотеки ее отца. По счастью, там нашлись хорошие книги; впрочем, иначе и быть не могло, потому что библиотека была составлена, правда, священником и даже ученым, что тогда было в моде, но человеком со вкусом и с умом. «История церкви и империи» Лесюэра, «Рассуждение о всемирной истории» Боссюэ, «Знаменитые люди» Плутарха, «История Венеции» Нани, «Метаморфозы» Овидия, Лабрюйер, «Миры» Фонтенеля, его же «Диалоги мертвых» и несколько томов Мольера были перенесены в мастерскую моего отца, и я читал их ему каждый день, пока он работал. Я получил к чтению редкое, а в моем возрасте, быть может, исключительное пристрастие. Любимым моим автором стал Плутарх. Удовольствие, которое я испытывал, постоянно перечитывая его, немного излечило меня от моей страсти к романам; скоро я стал предпочитать Агесилая, Брута, Аристида — Орондату, Артамену и Юбе. Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжение всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого. Беспреданно занятый Римом и Афинами, живя как бы одной жизнью с их великими людьми, сам родившись гражданином республики и сыном отца, самую сильную страстью которого была любовь к родине, — я пламенел ею по его примеру, воображал себя греком или римлянином, становился лицом, жизнеописание которого читал; рассказы о проявлениях стойкости и бесстрашия захватывали меня, глаза мои сверкали, и голос мой звучал громко. Однажды, когда я рассказывал за столом историю Сцеволы, все перепугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над нею руку, чтобы воспроизвести его подвиг.

У меня был брат, старше меня на семь лет. Он обучался ремеслу отца. Чрезмерная любовь ко мне приводила к тому, что на него меньше обращали внимания, чего я совершенно

не могу одобрить. Это пренебрежение сказалось на его воспитании. Он начал вести распутную жизнь, не достигнув еще возраста, когда можно стать настоящим распутником. Его устроили к другому хозяину, но он продолжал потихоньку исчезать, как это было и в отцовском доме. Я его почти не видел и, можно сказать, едва был с ним знаком; тем не менее я любил его нежно, и он меня любил, насколько может любить кого-нибудь такой повеса. Помню, как один раз, когда разгневанный отец беспощадно его наказывал, я стремительно бросился на выручку и крепко обнял брата. Я укрыл его своим телом, получая удары, предназначенные ему, и так настойчиво подставлял свою спину, что отец наконец сжалился, оттого ли, что был обезоружен моими криками и слезами, или оттого, что не хотел наказывать меня больше, чем его. В конце концов мой брат совсем сбился с пути: убежал из дому и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии. Он ни разу не написал. С тех пор о нем не было никаких вестей, и вот каким образом я стал единственным сыном.

Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то нельзя сказать того же обо мне; за детьми короля не могли бы ухаживать с большим усердием, чем ухаживали за мной в первые годы моей жизни, когда все окружающие обожали меня и, что случается гораздо реже, обращались со мной, как с ребенком любимым, но отнюдь не балуемым. Никогда, ни разу до моего ухода из родительского дома, не позволили мне бегать по улице с другими детьми; никогда не приходилось подавлять во мне или удовлетворять ни одной из тех вздорных причуд, в которых обвиняют природу, но которые порождает воспитание. У меня были недостатки моего возраста: я был болтун, лакомка, иногда лгун. Я мог стащить фрукты, конфеты, снедь, но никогда мне не доставляло удовольствия делать зло, вред, огорчать окружающих, мучить бедных животных. Вспоминаю, однако, что я помогился однажды в кастрюлю одной из наших соседок, мадам Кло, в то время, как она была на проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех, потому что мадам Кло, женщина, в сущности, добрая, была все-таки самая ворчливая старуха, какую я только знал. Вот краткая и правдивая история всех моих детских проступков.

Как мог бы я сделаться злым, имея перед глазами только примеры нежности и видя лучших людей на свете вокруг себя? Мой отец, моя тетка, моя кормилица, мои родственники, наши друзья, наши соседи — все окружавшие меня, по правде говоря, не потакали мне, но любили меня, и я тоже любил их. Для моих капризов было так мало поводов, и так редко им давали отпор, что они и не приходили мне в голову. Могу поклясться, что до моего порабощения хозяину я не знал, что такое прихоть. Кроме того времени, когда я читал или писал возле отца, и того, когда няня водила меня гулять, я был постоянно с тетей, глядел, как она вышивает, слушал, как она поет, сидя или стоя подле нее; и я был доволен. Ее веселость, ее нежность, ее приятное лицо оставили во мне такое сильное впечатление, что я и теперь вижу выражение ее лица, взгляд, фигуру, помню ее ласковые слова; я мог бы описать, как она была одета и причесана, не забыв даже двух черных локонов на висках, по моде того времени.

Я уверен, что ей обязан я склонностью или, вернее, страстью к музыке — страстью, вполне развившейся во мне только значительно позже. Она знала невероятное количество арий и песен и напевала их очень нежным голосом. Ясность души этой превосходной девушки отгоняла от нее и от всех, кто ее окружал, задумчивость и грусть. Прелесть ее пения была так сильна, что несколько ее песен навсегда остались у меня в памяти, а некоторые, совершенно забытые с самого детства, теперь, когда я потерял ее, по мере того как я старею, возникают вновь с невыразимым очарованием. Кто сказал бы, что я, старый ворчун, снедаемый заботами и огорчениями, иной раз ловлю себя на том, что плачу, как ребенок, бормоча эти песенки голосом уже разбитым и дрожащим? Особенно ясно вспоминается мне мотив одной из песен, но половина слов упорно отказывается уступить усилиям моей памяти, хотя я смутно припоминаю рифмы. Вот начало и то, что я мог припомнить из остального:

Тирсис, свирелью
Не зови меня под вяз
В поздний час, —
Ведь звонкой трелью
В селе ты выдал нас.
..... похмелью

..... греха
..... пастуха.
Горести влечет за собой веселье¹.

Я стараюсь постичь, в чем заключается для меня нежное очарование этой песни; странно и непонятно, но я не в силах допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Сотни раз я собирался написать в Париж и попросить, чтобы отыскивали остальные слова, если есть еще кто-нибудь, кто их помнит. Но я почти уверен, что удовольствие, которое я испытываю, вспоминая эту песню, отчасти поблекнет, если у меня будут доказательства, что и другие, кроме тети Сюзон, пели ее.

Таковы были первые мои привязанности на пороге жизни, так начало складываться и проявляться мое сердце, в одно и то же время такое гордое и такое нежное, мой характер, женственный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца моей жизни ставил меня в противоречия с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня.

Это воспитание было прервано случаем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. У моего отца произошло столкновение с неким господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников среди членов совета. У этого Готье, человека наглого и подлого, пошла носом кровь, и он из мести обвинил моего отца, будто тот обнажил шпагу в пределах города. Отца хотели посадить в тюрьму, но он заупрямился, требуя, чтобы обвинитель, согласно закону, был заключен вместе с ним; не добившись этого, он предпочел уехать из Женевы и на всю жизнь оставить родину, чем уступить в таком деле, в котором, как ему казалось, были затронуты его честь и свобода.

Я остался под опекой моего дяди Бернара, служившего тогда в Женевской крепости. Старшая дочь его умерла, но у него был сын одних лет со мной. Обоих нас отдали в Боссе, на пансион к священнику Ламберсье, чтобы обучить там,

¹ Перевод стихотворных отрывков в тексте принадлежит А. Мушниковой.

наряду с латынью, всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней под названием образования.

Два года, проведенные в деревне, немного смягчили мою римскую суровость и вернули меня к детству. В Женеве, где меня ни к чему не принуждали, я любил занятия; чтение было почти единственным моим развлечением; в Боссе работа заставила меня полюбить игры, служившие отдыхом от нее. Деревенская жизнь была так нова для меня, что я не уставал наслаждаться ею. Я почувствовал такое сильное расположение к ней, что оно уже никогда не могло угаснуть. Воспоминание о счастливых днях сельской жизни всегда заставляло меня жалеть о ее удовольствиях вплоть до того времени, когда я вернулся к ней. Г-н Ламберсье был человек очень разумный; не пренебрегая нашим образованием, он вместе с тем не обременял нас чрезмерными занятиями. Доказательством его умелого руководства служит то, что, несмотря на мою нелюбовь к принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением о часах моих занятий, и если я усвоил у него не особенно много, то усвоенному научился без труда и ничего из этого не забыл.

Простота этой сельской жизни принесла мне неоценимое благо, открыв мое сердце дружбе. До сих пор мне были знакомы только чувства возвышенные, но воображаемые. Привычка жить мирно бок о бок тесно связала меня с моим двоюродным братом Бернаром. Вскоре я стал питать к нему чувства более нежные, чем к своему брату, и сохранил их навсегда. Это был высокий мальчик, очень худой, очень хилый и настолько же добрый сердцем, насколько слабый телом; он не слишком злоупотреблял предпочтением, которое оказывали ему в доме как сыну моего опекуна. Наши занятия, развлечения, вкусы были одни и те же; мы были одиноки, одного возраста, каждый из нас нуждался в товарище, различить нас — значило бы, в известном смысле, нас уничтожить. Хотя у нас было мало поводов для доказательства взаимной привязанности, она достигала крайних пределов, и мы не только не могли прожить ни одной минуты врозь, но не представляли себе, что это когда-нибудь может случиться. Оба с характером, легко уступающим ласке, услужливые, когда нас не принуждали к этому, мы всегда были во всем согласны между собой. Если благодаря благосклонно-

сти к Бернару наших воспитателей он в их присутствии имел некоторое преимущество передо мной, то, когда мы оставались одни, преимущество было на моей стороне, и равновесие восстанавливалось. Во время наших занятий, когда он запинаясь, я подсказывал ему; когда моя задача была решена, я помогал решать ему; а в наших играх мой характер, более деятельный, всегда служил ему путеводителем. Словом, наши характеры так хорошо подходили друг к другу и дружба, соединявшая нас, была так искренна, что в течение более пяти лет, которые мы прожили, почти не разлучаясь, как в Боссе, так и в Женеве, мы, признаюсь, хотя и часто дрались, но никогда нас не приходилось разнимать, никогда наша ссора не продолжалась более четверти часа, и ни разу мы не пожаловались друг на друга. Подробности эти наивны, если угодно, но из них складывается образец отношений, быть может единственный, с тех пор как существуют дети.

Образ жизни в Боссе так подходил для меня, что если бы он продлился дольше, то окончательно определил бы мой характер. Чувства нежные, благожелательные, мирные составляли его основу. Думаю, что никогда ни одно человеческое существо не было от природы менее тщеславно, чем я. Я поднимался порывами до возвышенных движений души, но тотчас же снова впадал в обычную вялость. Быть любимым всеми близкими было моим живейшим желанием. Я был кроток; мой двоюродный брат тоже; наши воспитатели сами были такими же. За целые два года я не стал ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств. Все питало в моем сердце склонности, заложенные природой. Самой большой радостью для меня было видеть, что все довольны мной и всем вокруг. Я всегда буду помнить, что в храме, когда я запинаясь, отвечая по катехизису, ничто так не смущало меня, как признаки беспокойства и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Одно это удручало меня больше, чем стыд публичного промаха, хотя и это до крайности волновало меня; и я могу здесь сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня гораздо меньше, чем боязнь огорчить ее.

Однако она, как и ее брат, не упускала случая, когда это было необходимо, проявить строгость, но строгость эта, по-

что всегда справедливая, никогда не переходила границ и поэтому только огорчала, но не возмущала меня. Я больше боялся не угодить, чем понести за это кару, и признак неудовольствия был для меня тягостней телесного наказания. Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это. Как поспешили бы изменить методу обращения с детьми, если бы лучше видели отдаленные последствия той методы, которую постоянно применяют без разбора и часто безрас- судно! Великий урок, который можно извлечь из примера, столь же обычного, сколь пагубного, вынуждает меня привести его.

Так как мадемуазель Ламберсье любила нас как мать, она пользовалась и материнской властью, простирая ее до того, что подвергала нас порой, когда мы этого заслуживали, наказанию, обычному для детей. Довольно долго она ограничивалась лишь угрозой, и эта угроза наказанием, для меня совершенно новым, казалась мне очень страшной, но после того, как она была приведена в исполнение, я нашел, что само наказание не так ужасно, как ожидание его. И вот что самое странное: это наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему. Понадобилась вся моя искренняя привязанность, вся моя природная мягкость, чтобы помешать мне искать случая снова пережить то же обращение с собой, заслужив его; потому что я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки. Правда, к этому, несомненно, примешивалась некоторая доля преждевременно развившегося полового инстинкта, и то же наказание, полученное от ее брата, вовсе не показалось бы мне приятным. Впрочем, зная его характер, мне нечего было опасаться такой замены; и если я не старался заслужить наказание, то исключительно из боязни рассердить мадемуазель Ламберсье; ибо так сильна надо мной власть доброжелательности, даже той, которая порождена чувственностью, что она всегда повелевала в моем сердце.

Повторение, которое я отдалял, боясь его, произошло без моей вины, то есть помимо моей воли, и я им воспользовался, могу сказать, с чистой совестью. Но этот второй раз был и последним: мадемуазель Ламберсье, несомненно заметив

по какому-то признаку, что это наказание не достигает цели, объявила, что она от него отказывается, так как оно слишком утомляет ее. До тех пор мы спали в ее комнате, а зимой иногда даже в ее постели. Через два дня нас перевели в другую комнату, и с тех пор я удостоился чести, без которой прекрасно обошелся бы: она стала обращаться со мной как с большим мальчиком.

Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем? В то время как во мне зажглась чувственность, желания мои так изменились, что, ограничившись испытанным, я не стал искать ничего другого. Хотя чуть ли не с самого рождения кровь моя была полна чувственного огня, я сохранил себя чистым и незапятнанным до того возраста, когда развиваются самые холодные и самые медлительные темпераменты. Мучаясь долго, сам не зная отчего, я пожирал пламенным взглядом красивых женщин; мое воображение беспрестанно напоминало их мне только для того, чтобы распорядиться ими по-своему и сделать их всех девицами Ламберсье.

Даже по достижении возмужалости этот странный вкус, по-прежнему упорный и доведенный до извращенности, до безумия, сохранил во мне благонравие, хотя, казалось бы, должен был лишить меня его. Если когда-нибудь воспитание было скромным и целомудренным, то именно такое воспитание я и получил. Три мои тетки отличались не только примерной рассудительностью, но и сдержанностью, давно уже незнакомой женщинам. Отец мой, охотник до наслаждений, но любезничавший по старой моде, никогда не заводил с женщинами, которых он любил, разговоров, способных заставить покраснеть девушку, и нигде уважение к детям не шло так далеко, как в моей семье; не менее внимательным ко мне в этом отношении был и г-н Ламберсье; одна очень хорошая служанка была выставлена им за дверь за какое-то немного вольное слово, сказанное при нас.

До своей юности я не только не имел ясного понятия о близости полов, но никогда смутное представление об этом не возникало у меня иначе, как в отталкивающем и против-

ном виде. К публичным женщинам я чувствовал гадливость, которая осталась во мне навсегда; я не мог видеть развратника без чувства презрения, даже без ужаса; мое омерзение достигло высшей степени после того, как однажды, идя в Малый Сакконе по выбитой в горах дороге, я заметил по обеим ее сторонам углубления в земле, в которых, как мне говорили, эти люди совершали свои совокупления. То, что я наблюдал у собак, тоже всегда приходило мне на ум, когда я думал об этом, и от одного этого воспоминания меня начинало тошнить.

Эти предрассудки воспитания, сами по себе способные сдержать первые вспышки пылкого темперамента, как я сказал, получили поддержку в уклонении, которое вызвали у меня первые проявления чувственности. Рисуя в воображении лишь то, что перечувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастья, никогда не доходя до другого, который мне сделался ненавистным и который был так близок к первому, хотя я об этом и не подозревал. В своих глупых фантазиях, в своих эротических исступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился.

Таким образом, обладая темпераментом очень пылким, очень сладострастным, очень рано пробудившимся, я тем не менее прошел возраст возмужалости, не желая и не зная других чувственных удовольствий, кроме тех, с какими познакомил меня, совершенно невинно, мадемуазель Ламберсье, а когда время сделало меня наконец мужчиной, случилось так, что меня опять спасло то самое, что должно было бы погубить. Моя прежняя детская склонность, вместо того чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить ее от желаний, зажженных чувственностью. И это безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами; у меня не было смелости все сказать или возможности все сделать, ибо тот род наслаждения, по отношению к которому другое было для меня лишь последним пределом, не мог быть самостоятельно осуществлен тем, кто его желал, ни отгадан той, которая могла его

доставить. Всю жизнь я вожделел и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил. Никогда не смея признаться в своей склонности, я по крайней мере тешил себя отношениями, сохранявшими хотя бы представление о ней. Быть у ног надменной возлюбленной, повиноваться ее приказаниям, иметь повод просить у нее прощения — все это доставляло мне очень нежные радости; и чем больше мое живое воображение воспламеняло мне кровь, тем больше я походил на охваченного страстью любовника. Понятно, что этот способ ухаживания не ведет к особенно быстрым успехам и не слишком опасен для добродетели тех, кто является их предметом.

Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, то есть в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность; но те же самые наклонности, возможно, погрузили бы меня в самое грубое сладострастие, будь у меня больше бесстыдства.

Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня. Чего стоят мне подобные признания, можно судить по тому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать, пронизывая все мое тело судорожным трепетом возбуждения, но никогда не мог я отважиться признаться в моем безумии, не мог даже в самых интимных отношениях умолять о единственной милости, которой мне недоставало. Это случилось со мной только раз, в детстве, с девочкой моих лет, да и то предложение исходило от нее.

Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое; и нахожу также другие, с виду тождественные, но образовавшие благодаря стечению известных обстоятельств столь различные сочетания, что трудно представить себе, чтобы между

ними была какая-нибудь связь. Кто подумал бы, например, что один из самых могущественных двигателей моей души исходил из того же источника, из которого в мою кровь лились изнеженность и сладострастье? Не покидая предмета, о котором только что шла речь, я покажу, сколь несходное впечатление произвел он в другом случае.

Как-то раз, оставшись один, я учил урок в комнате, смежной с кухней; служанка положила сушить на плиту гребенки мадемуазель Ламберсье. Когда она вернулась за ними, оказалось, что у одной гребенки половина зубьев сломана. Кто виновник этого? Никто, кроме меня, не входил в комнату. Меня допрашивают; я утверждаю, что не трогал гребенки. Г-н Ламберсье и его сестра убеждают меня, угрожают мне, наступают на меня — я упрямо стою на своем; но улика была слишком очевидна, она пересилила все мои возражения, хотя впервые было замечено, что я лгу так дерзко. К делу отнеслись серьезно: оно того стоило. Злость, ложь, упорство казались одинаково заслуживающими наказания; но, на беду, уже не мадемуазель Ламберсье произвела его надо мной. Написали моему дяде Бернару; он приехал. Мой бедный двоюродный брат был обвинен в другом, не менее тяжком проступке, и мы оба подверглись одному наказанию. Оно было ужасно. Если бы, ища лекарства в самой болезни, пожелали навсегда подавить мои извращенные чувства, то и тогда не могли бы лучше взяться за дело. И нужно сказать, что чувства эти надолго оставили меня в покое.

У меня не удалось вырвать требуемое признание. Меня призывали к ответу много раз, довели до ужасного состояния, но я был непоколебим. Мне легче было умереть, и я решился на это. Самой силе пришлось сдаться перед дьявольским упрямством ребенка — так называли мою стойкость. Наконец я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий.

Прошло почти пятьдесят лет со времени этого происшествия, теперь мне нечего бояться наказания за тот случай, и вот я объявляю перед лицом Неба, что я был в нем неповинен, что я не ломал и не трогал гребня, не подходил к плите и даже не думал об этом. Пусть меня не спрашивают, как сломался гребень, — я этого не знаю и не могу понять; знаю одно только, что в этом я был неповинен.

Пусть представят себе характер, робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях, характер ребенка, всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое, не имевшего даже понятия о несправедливости и в первый раз испытывавшего столь ужасную несправедливость со стороны людей, которых он любил и уважал больше всего. Какое крушение понятий! Какое смятение чувств! Какой переворот в сердце, в мыслях, во всем его духовном, нравственном существе! Я говорю: пусть представят себе все это, если возможно, а я совершенно не способен разобрать и проследить во всех мелочах то, что происходило тогда во мне.

У меня еще недоставало разума, чтобы понять, насколько видимость обличает меня, и поставить себя на место других. Я стоял на своем и чувствовал только суровость страшного возмездия за преступление, которого я не совершил. Телесная боль, хотя и сильная, была для меня мало чувствительна; я испытывал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. Лежа в одной постели, мы судорожно сжимали друг друга в объятиях, мы задыхались, и когда наши юные сердца, немного успокоившись, были в состоянии излить свой гнев, мы поднимались на нашем ложе и изо всех сил кричали: «Carnifex! Carnifex! Carnifex!»¹

И сейчас еще, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс; эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будят во мне и прежнее волнение; и это чувство, в своем истоке относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, мое сердце так горит негодованием, как

¹ Палач! (лат.)

Руссо Ж.-Ж.

Р 89 Исповедь / Жан-Жак Руссо ; пер. с фр. Д. Горбова, М. Розанова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 736 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).

ISBN 978-5-389-25463-3

Жан-Жак Руссо (1712–1778) — выдающийся мыслитель и писатель эпохи Просвещения, человек, сотканный из противоречий, оставшийся в истории как смелый и неортодоксальный мыслитель. В «Исповеди», поразительной по откровенности (по крайней мере, для XVIII века), Руссо подробно описывает пятьдесят три года своей жизни. Это попытка обнажить истинные мотивы действий человека и — почти всегда — найти для них оправдания. Руссо не утаивает того, что воровал, отдал собственных детей в воспитательный дом, жил за счет богатых дам, делится самыми сокровенными чувствами. Он пишет, как увлекался людьми и как рвал с ними, описывает все свои обиды и горькие заблуждения. Действующими лицами в его повествовании являются Дидро, Вольтер, барон фон Гримм, множество благосклонных к нему женщин. На суд широкой публики это сочинение было вынесено лишь спустя четыре года после смерти автора, в 1782 году.

УДК 82-94

ББК 83.3(4)-8

Литературно-художественное издание / Әдеби-көркем басылым

ЖАН-ЖАК РУССО
ИСПОВЕДЬ

Ответственный редактор Елена Адаменко
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Светлана Федорова, Валерий Камендо

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 10.04.2024.
Формат издания 76 × 100 1/32. Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Усл. печ. л. 32,43. Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА*,
115093, Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Филиал ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге,
191024, Санкт-Петербург,
Херсонская ул., д. 12–14, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru
Отпечатано в России.

Өндіруші: «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» ЖШҚ —
АЗБУКА* тауар белгісінің иесі,
115093, Мәскеу, қ. іш. аум.
Даниловский муниципалдық округі,
Партийный т.ш., 1-үй, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы,
191024, Санкт-Петербург,
Херсон көшесі, 12–14 үйі, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru
Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы
мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в Публичном акционерном обществе
«Можайский полиграфический комбинат»
143200, Россия, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, тел.: (49638) 20-685



A-NFA-34453-01-R